

К. И. Зубков
**ЕВРАЗИЙСКИЙ ВЫЗОВ В ФОРМИРОВАНИИ
РОССИЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ***

doi: 10.30759/1728-9718-2018-2(59)-13-21

УДК 930.85(470)

ББК 63.0+63.3(2)

Особенности русского исторического процесса рассматриваются в статье сквозь призму предложенной А. Дж. Тойнби аналитической модели «вызов — ответ» как ядра его теории генезиса цивилизаций. В результате исследования подтверждена высокая степень верификации взгляда на Россию как на самостоятельную цивилизацию «континентального» типа, в становлении которой экстраординарное значение имела природно-географическая детерминация. В ходе анализа пространственно-географических условий Евразии как арены разворачивания русской истории выявлен комплексный и исторически долговременный характер «большого вызова», который в работе определен как «евразийский» и с которым необходимо связывать самые мощные импульсы к возникновению российской цивилизации. В структуре этого вызова факторы «континентальности» и неблагоприятных природных условий были неразрывно связаны с внешним военным давлением, а колониационный процесс стал комплексной стратегией ответа на их массивное воздействие. Колониационный отток населения из Южной Руси на северо-восток и миграция туда политического центра русских земель явились исторически первым успешным ответом на евразийский вызов и подлинным моментом зарождения российской цивилизации. После укрепления Русского государства за счет освоения северо-восточных и восточных территорий дальнейшее развитие российской цивилизации было связано с решительным разворотом фронта колонизации в южном направлении. Последовавшее аграрное освоение степных частей Евразии, являвшихся прежде зоной господства кочевников, следует рассматривать как важнейшую историческую миссию российской цивилизации и как первую российскую модернизацию.

Ключевые слова: *Россия, Евразия, российская цивилизация, Тойнби, «вызов», «ответ», колонизация, безопасность*

Моделируя исторический механизм развития цивилизаций, английский историк А. Дж. Тойнби в цепи своих рассуждений немало места уделил доказательствам несостоятельности его сведения к действию какого-либо одного из факторов, привычно относимых предшествующей наукой к «позитивным». По его мнению, этот механизм невозможно объяснить по отдельности ни фактором расы, понимаемой как набор выдающихся духовно-психических качеств, внутренне присущих группе людей определенного физического типа, ни фактором среды как комплекса природно-географических условий, в которых вынуждена действовать эта группа, постоянно ощущая их принудительную силу. По А. Тойнби, генезис цивилизации обуславливается не какой-то

одной из сущностей, но, скорее, отношением между ними; это — творческий акт, возникающий как ответ мыслящей элиты социума на внешний вызов, исходно создаваемый либо резким изменением природной среды, либо другой масштабной экзистенциальной угрозой и, следовательно, необходимостью перемены привычных условий существования, всего образа жизни.¹

Отсюда и понимание цивилизации у А. Тойнби подчеркнуто феноменологично. Своеобразие каждой возникающей в истории цивилизации, по А. Тойнби, заключено в специфике успешного культурного ответа на тот или иной неординарный внешний вызов. Каждый такой ответ неотделим от формирующей его иерархии социальных ценностей, от особой концепции смысла жизни, в которой во всей полноте отражена изначальная драма испытания и преодоления и, как следствие, реализуемая через нее свобода исторического выбора, балансирующая на грани между природным и социальным детерминизмом.

*Зубков Константин Иванович — к.и.н., в.н.с., Институт истории и археологии УрО РАН, (г. Екатеринбург)
E-mail: zubkov.konstantin@gmail.com*

* Работа выполнена по проекту фундаментальных исследований Комплексной программы Уральского отделения РАН «Российские модернизации: исторические вызовы и механизмы их преодоления» (№18-6-6-37, рук. И. В. Побережников)

¹ См.: Тойнби А. Дж. Постигание истории. М., 1991. С. 107.

Аналитический метод А. Тойнби основан на тонкой интеллектуальной игре с господствующими историографическими дискурсами: в своем отрицании плоского эволюционизма и признании эмерджентной природы зарождения цивилизаций он не отрицает полностью идеи закономерности, видя ее, однако, не в едином порядке развития исторических форм, а в универсальности механизма генезиса цивилизаций. Факторы расы и среды сами по себе недостаточны для того, чтобы в деталях объяснить возникновение той или иной цивилизации, но именно с исследования их взаимодействия и с критики попыток их односторонней абсолютизации, как показывает сам А. Тойнби, должно начинаться движение к такому объяснению.

На наш взгляд, развивая свою концепцию генезиса цивилизаций, А. Тойнби с помощью метафор расы и среды вычленил во всем разнообразии способов историописания две характерные, во многом стихийно сложившиеся парадигмы, посредством которых обычно осмысливалась история цивилизаций и составляющих их народов. Первая из них берет за основу идею последовательного развертывания сменяющих друг друга исторических форм из некоего изначального культурно-политического генотипа — своего рода исторического «зерна», исходно обладающего неоспоримыми преимуществами жизненной силы. Очевидно, что такой концептуальный взгляд чаще всего представляет собой ретроспекцию на прошлое современной идентичности цивилизаций, народов и государств. Второй подход трактует историю иначе: он помещает в центр анализа не логику саморазвивающейся государственно-политической или культурно-религиозной идеи, но сугубо внешний, грубо-материалистический детерминизм необходимости, обобщенно соотносимый с воздействием на общество природно-географической среды (общество зависит от суммы возможностей и препятствий, полагаемых ему природным окружением). При таком взгляде история цивилизаций и народов предстает чем-то более сложным и гетерогенным: она включает в себя не только прогресс культурных накоплений, совершаемых на неизменном географическом фундаменте, но и освоение новых пространств, приспособление к новым средам. Если для первого подхода сущность развития определяется идеей идентичности, то для второго — идеей непрерывной адаптации.

Выделенные парадигмы осмысления истории, безусловно, далеко не с одинаковой степенью релевантности применимы к описанию различных цивилизаций и представляющих их исторических народов. Есть страны со стабильной, мало изменявшейся в ходе истории территорией, исторический образ которых сливается с занимаемым ими географическим пространством, образуя с ним нерасторжимое органичное единство (например, Франция при Каролингах, Капетингах, Валуа, Бурбонах). Совсем другое дело — государства, формировавшиеся в ходе многовекового процесса колонизации. В Старом Свете к таким странам в первую очередь относится Россия. При этом, в отличие от стран, которые относительно рано обрели устойчивую географическую «нишу» воспроизводства своей экономики и культуры, в странах, непрерывно осуществляющих колонизацию, между изначальным культурным «кодом», определившим образ жизни их населения, и условиями хозяйствования на вновь осваиваемых территориях может возникать глубокий диссонанс, который А. Тойнби и обозначил термином «вызов».

Россию А. Тойнби отнес к числу цивилизаций, в генезисе которых заметный перевес имела природная среда. По А. Тойнби, определяющая географическая черта российской цивилизации — ее «континентальность».² Эта скупая, но точная характеристика вполне достаточна для констатации наиболее выразительной, почти уникальной черты географической арены русской истории — триединства обнимающих весь север Евразии «великих равнин»: волнистой Русской, совершенно плоской Западно-Сибирской и плоскогорной Средне-Сибирской.³

Эта характеристика вполне созвучна тому, как понимала географические предпосылки русского исторического процесса отечественная историография. Для С. М. Соловьева то, что отличало пространственную основу русской государственности от «нормального» (точнее говоря, усредненно-европейского) масштаба государственных форм (по сути, небольших ансамблей экономически взаимодополняемых территорий), — это обширность и открытость Русской равнины, которую характеризовало «однообразие природных форм», ведущее к однообразным занятиям населения и, как

² Там же. С. 106.

³ См.: Семенов-Тянь-Шанский В. П. Типы местностей Европейской России и Кавказа: очерк по физической географии в связи с антропогеографией. Пг., 1915. С. 3, 4.

следствие, к одинаковости нравов, обычаев, верований — без устойчивых областных привязанностей, как и без резких переходов между областями. В этом факте, по С. М. Соловьеву, уже исходно содержится некая предустановленность исторической судьбы, поскольку «равнина, как бы ни была обширна, как бы ни было вначале разноплеменно ее население, рано или поздно станет областью одного государства».⁴

Бесспорно, однако, что это однообразие естественноприродных условий равнины и, как следствие, хозяйственных занятий населения в такой же степени должны были благоприятствовать и силам разобщения, поскольку оборотной стороной такого однообразия являлась слабость предпосылок общественного разделения труда. В сочетании с низкой плотностью населения (в начале XV в. в России на 1 км² территории приходилось в среднем 2–3 чел., в то время как в Западной Европе — 22–30 чел.) это должно было вести к замедленному обмену товарами и услугами, а значит — в сильнейшей степени способствовать сохранению разобщенности и замкнутости удельных и общинных «миров». А. В. Дулов связывает с этим фактом исторически длительное существование русской крестьянской общины как продукта естественно обусловленной консервации натуральных хозяйственных форм.⁵ Н. А. Рожков обратил внимание на другое проявление этого же феномена — на дистанционный, преимущественно межобластной, как бы сразу «народный» по масштабу характер формирующихся торговых связей. В отличие от Западной Европы с ее развитыми местными рынками, в России рост значения товарных различий и хозяйственной специализации как предпосылок развития торговли обнаруживал себя лишь в условиях невообразимо больших расстояний и усиливающихся вместе с ними природных различий.⁶

Эти наблюдения не противоречат мысли С. М. Соловьева, скорее, наоборот, добавляют ей аргументов. Историк фактически подчеркнул, что те хозяйственно-географические различия (между Севером и Югом, нечерноземной и черноземной зонами), которые, сочетаясь, могли бы придать процессу объединения русских земель органичную прочность, способны проявить себя с полной силой не

раньше, чем вся обширная Русская равнина будет объединена политически. Подтверждением этому может служить хотя бы такой примечательный факт: долгое время расширявшееся на север и северо-восток Московское государство испытывало череду динамичных сдвигов в экономике, политике, культуре и обрело настоящее богатство исторических возможностей лишь после того, как сначала Иваном IV, а затем Петром I и Екатериной II «ось» его геополитических устремлений была решительно развернута по линии «север — юг». С точки зрения экономики южное направление экспансии перевешивало по значимости все другие, поскольку было самым важным для формирования экономического «большого пространства», т. е. для диверсификации хозяйственной жизни, полноты общественного разделения труда, развития обмена. Поэтому в той мере, в какой Южная Россия становилась безопасной, темпы ее заселения и хозяйственного развития становились несравнимо более высокими, чем на других присоединенных территориях (по оценке английского географа Х. Дж. Маккиндера, «почти американскими»⁷).

Идея априорности «большой» пространственной формы как прообраза государственно-политического единства у С. М. Соловьева служит выражением скрытой силы исторической необходимости, проявляющей себя «поверх» индивидуальных устремлений. Государство — единственная сила, способная создать из исходно экономически разобщенного, состоящего из множества обособленных хозяйственных «миров» пространства целостный жизнеспособный организм. Такое государство не столько вырастает из суммы экономических связей, сколько возвышается над нею, определяя горизонт их простираения и всегда опережая в своих устремлениях то, что обусловлено текущим состоянием хозяйственной жизни. Это дало основание П. Н. Милокову сделать вывод о том, что «политическое развитие и процесс расширения русского государства постоянно опережали экономическое развитие России», из чего вытекала, среди прочего, заметная раздвоенность русской исторической жизни между строгим «государственническим» самосознанием власти и глубоко, по существу, «анархическим» самосознанием народа.⁸

⁴ Соловьев С. М. Сочинения. Кн. 1: История России с древнейших времен. Т. 1–2. М., 1988. С. 56.

⁵ См.: Дулов А. В. Географическая среда и история России. Конец XV — середина XIX в. М., 1983. С. 244.

⁶ См.: Рожков Н. А. Происхождение самодержавия в России. М., 2012. С. 45.

⁷ Mackinder H. J. The Geographical Pivot of History // The Geographical Journal. 1904. Vol. 23, № 4. P. 433.

⁸ См.: Милоков П. Н. Почему русская революция была неизбежна? // Русская идея: в 2 т. М., 1994. Т. 2. С. 122.

Созданием особого типа государства как выразителя априорной идеи политического единства далеко не исчерпывается ответ, выработанный российской цивилизацией перед лицом тех трудностей, которые полагало развитию страны ее не определяемое четкими границами континентальное положение. Вызов историческому существованию России, обусловленный ее «континентальностью», по силе и многообразию его проявлений можно считать в каком-то смысле беспрецедентным: в нем концентрированно соединились все типы вызовов, которые А. Тойнби считал существенными для первоотчетка цивилизационной динамики, а именно: первоначальная суровость и нарастающее ухудшение природных условий, внешние завоевания, перманентное давление «варваров» и т. п.

Обширность Русской равнины при малой плотности ее заселения объективно превращала ее в арену повышенной пространственной мобильности, массовых миграций и подвижности этнокультурных ареалов, что позволило В. О. Ключевскому считать колонизацию «основным фактом нашей истории, с которым в близкой или отдаленной связи стояли все другие ее факты».⁹ Одновременно Русская равнина — это открытое и практически нигде не защищенное естественными преградами пространство. И если Киевской Руси как первому ростку русской государственности, в целом, удавалось поддерживать силовое равновесие со своими западными соседями, то совсем другие последствия для ранней русской государственности имел другой внешний фактор континентального масштаба — существование протяженного, вклинивавшегося в пределы Русской равнины степного «коридора» Евразии, по которому с востока на запад, сменяя друг друга, непрерывно в течение веков двигались кочевые племена, начиная с гуннов и аваров и кончая печенегами, торками, половцами и татаро-монголами.

В историографии довольно рано было отмечено, что топографические особенности местностей, по которым проходили кочевые авангарды, — относительная узость «ворот» между Каспием и южными отрогами Урала, а затем стесняющая движение на юг водная громада Черного моря — придавали неубывающую силу кочевому натиску на южнорусские зем-

ли, делая их полем «жесточайших браней».¹⁰ Хотя занимавшая несколько столетий борьба оседло-земледельческого населения Древней Руси с кочевыми, по преимуществу тюркскими, народами Великой Степи, по наблюдению С. М. Соловьева, выражала себя в исторически изменяющихся ситуациях перевеса то одной, то другой из противоборствующих сторон,¹¹ открытость южных границ Руси и критическое усиление номадического натиска, связанное с утверждением в южнорусских степях полувещких орд (с середины XI в.), привели к ситуации, когда даже успешные военные походы русских князей не могли остановить стихийного распространения кочевых становищ на левобережье Днепра, а вместе с этим — нагнетания обстановки постоянных угроз, ведшей к постепенному упадку хозяйственной жизни поднепровской Руси.¹²

В конечном счете, все это обусловило неспособность юго-западной Руси, составлявшей «самую благословенную часть областей русских относительно климата и качества почв», «стать государственным ядром» для России. Кочевой натиск на Приднепровье создал сильнейший «вращательный момент», с одной стороны, приведя к постепенному «разносу» этого государственного центра и к его деградации в «пограничное военное поселение», «страну казаков», а с другой — сообщив ранее шедшей в основном на юг и в Подонье русской колонизации разворот и новое мощное направление миграции — северо-восточное.¹³

По своему историческому смыслу это новое движение было не просто усилением одного из векторов колонизации, но началом фазы «сжатия» древнерусской геополитической системы, поскольку отток славян в населенные финскими племенами северные леса Волжско-Окского междуречья, начавшийся еще в киевский период, а затем ускоренный и довершенный татаро-монгольским нашествием, объективно приобретал характер вынужденного отступления и переноса самого центра государственной жизни на менее благоприятную по своим природно-климатическим условиям периферию. Это вбиравшее в свой поток выходцев из разных русских земель

¹⁰ Сестренцевич-Богущ С. История о Таврии. СПб., 1806. Т. 1. С. 12, 13.

¹¹ См.: Соловьев С. М. Указ. соч. С. 57.

¹² См.: Ляскоронский В. Г. Русские походы в степи в удельно-вечевое время и поход кн. Витовта на татар в 1399 году. СПб., 1907. С. 46, 47, 53, 64, 65.

¹³ См.: Соловьев С. М. Указ. соч. С. 66.

⁹ Ключевский В. О. Сочинения. Т. 1: Курс русской истории. Ч. 1. М., 1987. С. 50, 51.

колониционное движение¹⁴ явилось, вероятно, наиболее удачным ответом на номадический вызов, брошенный ранней русской государственности из глубин евразийских степей, и потому подлинным началом зарождения жизнестойкой восточнославянской («православно-христианской», по определению А. Тойнби) цивилизации.

К вызову военного давления, приведшему к значительной перегруппировке населения на всем пространстве Русской равнины, в этом колониционном движении добавлялся перманентно действующий природный вызов. Хозяйственно-культурный тип русского земледельца, сформировавшийся на южнорусских черноземах, на колонизируемых территориях должен был столкнуться с более суровой и неустойчивой природной средой, менее щедро вознаграждавшей его труд, легко истощаемой и выводимой из равновесия хозяйственными воздействиями, что, как подчеркивал В. О. Ключевский, требовало экстраординарных материальных и трудовых затрат для восстановления.¹⁵ Как ответ на этот вызов у русского крестьянина не мог не выработаться особый род хозяйственных стимулов: дело в том, что того недостатка, который могла бы принести интенсификация аграрного производства, с меньшими затратами можно было достигать экстенсивными методами — колонизацией нового пространства как вместилища разнообразных «даровых» и еще не растроченных ресурсов. Это не только питало энергию колониционного процесса, но и порождало особый тип освоения новых территорий, при котором, как отмечал В. О. Ключевский, население «распространялось по равнине не постепенно путем нарождения, не расселяясь, но переселяясь, переносилось птичьими перелетами из края в край, покидая насиженные места и сядя на новые», и на каждой из «стоянок», где приостанавливалась колонизация, «общежитие устроилось иначе, чем оно было устроено на прежней стоянке».¹⁶

Новый хозяйственный опыт крестьян, выработавшийся в главных чертах в XIII–XV вв.

при освоении великорусского исторического центра с его непроходимыми лесами, топями и болотами, суглинистыми почвами, неустойчивыми погодными условиями, еще прочнее должен был закрепиться в качестве нового культурного «кода», определяющего стереотипы хозяйственных практик и многие черты национального характера, с выходом русской колонизации на просторы Поморья, Урала и Сибири куда, в силу геополитических обстоятельств — постоянно сохраняющейся угрозы разорительных татарских набегов — вынужденно склонялся градиент расширения Русского государства. В этом колониционном процессе, который был, по существу, непрерывной чередой адаптационных ответов на природные и военные вызовы, сформировавшийся цивилизационный генотип проходил дополнительную историческую закалку.

Вынужденный отток населения на северо-восток, сопровождавшийся возникновением на колониционном «фронтире» нового государственно-политического центра объединения русских земель, проводит, на наш взгляд, между киевским и московским периодами русской истории не только хронологический, но и цивилизационный водораздел. Это, по существу, водораздел между периферийно-европейской раннесредневековой «империей» quasi-федеративного типа, обреченной в силу исторических обстоятельств стать «фальстартом» цивилизационного развития, и «евразийской» по геополитическим интенциям централизованной патримониальной монархией, ставшей ростком цивилизации успешной и состоявшейся. Изменилась не только природно-географическая ниша — трансформировался, по оценке К. Д. Кавелина, сам «исторический тип государства», вся социальная организация общества, сама идентичность. Обстановка колонизируемой — и не всегда мирно — окраины, заселяемой выходцами из разных земель, необычайно располагала к возвышению патримониальной власти владими́ро-суздальских, а затем и московских великих князей — власти уже совершенно иной природы, чем власть князей киевских. Борьба с ордынским игмом и трудный процесс «собираения» земель довершили формирование системы патримониального, «военно-служебного» государства, оставляя от западнорусской традиции, византийских элементов, татарского господства лишь «смутные воспоминания» или придавая им по преимуществу внешнюю, декоративную

¹⁴ Сборный характер заселения Ростово-Суздальской земли (уже в конце XII в. самой многолюдной и политически могущественной на Руси) отмечает М. К. Любавский, причем, по его оценке, к указанному времени массовая колониционная волна, шедшая с юга и юго-запада, перекрыла здесь собой результаты более ранней колонизации (из земель новгородских словен, кривичей и др.). См.: Любавский М. К. Обзор истории русской колонизации. М., 1996. С. 150–152.

¹⁵ См.: Ключевский В. О. Указ. соч. С. 88.

¹⁶ Там же. С. 50, 51.

роль.¹⁷ Со сменой природной обстановки и типа политической власти произошло изменение самих основ коллективной жизни, ее культурно-психологического строя, что, как писал В. Г. Белинский, «замечается в самом духе, а не в одних формах».¹⁸ Решительный водораздел между киевским и московским периодами русской истории был осознан русской общественной мыслью задолго до того, как «евразийцы» подкрепили этот вывод основательной геополитической аргументацией. В. Г. Белинскому «колыбель» России видится уже не в Киеве, но в Новгороде, «из которого, через Владимир, перешла она в Москву», где воспитанный суровыми условиями ум «медленнее, но основательнее, чувство спокойнее, но глубже, страсти воспламеняются труднее, но действуют тяжелее».¹⁹ Почти в унисон с ним К. Д. Кавелин подчеркивал, что в великорусском племени уже почти нет «индивидуального начала, нет поэтического характера, личной храбрости, удалства, рыцарства», освященных былинными преданиями о южнорусской государственности; оно «действует массами, не пускается в рискованное дело, выжидает, страшно выдержанно».²⁰

В ходе колонизационного движения сформировался и основной драматический нерв русской истории, или, иначе говоря, тот большой вызов, который мы называем евразийским. Он состоял в том, что если исходный культурный генотип российской цивилизации, в основе которого лежали византийские влияния и наследие Киевской Руси, был отчетливо европейским и в дальнейшем непрерывно получал от европейской цивилизации все новые «прививки», то природно-географическая арена разворачивания русской истории (или, по терминологии «евразийцев», ее «месторазвитие») по большей мере либо не принадлежала Европе, либо касалась той ее крайней юго-восточной части, которая под влиянием номадизма приобрела отчетливые азиатские черты. По В. О. Ключевскому, именно природа «положила на нее (Россию — К. З.) особенности и влияния, которые всегда влекли ее к Азии или в нее влекли Азию», придавая России образ своего рода «переходной страны».²¹ Переходные черты приобретала и сама российская цивилизация: будучи европейской в своих

истоках и интенциях, она вынуждена была действовать и развиваться главным образом в менее благоприятной, условно говоря, азиатской, природно-географической среде. Отсюда и специфический ответ на этот вызов: ту органичность развития и то богатство его возможностей, которые Европа извлекала из преимуществ своего географического положения (разнообразие ландшафтов и ресурсов, ровный, смягчаемый морем климат, обилие морских побережий и т. п.), Россия могла восполнять главным образом за счет освоения гораздо менее «гостеприимных» и протяженных пространств Северной Евразии, к тому же минимально затронутых предшествующими культурными накоплениями. В этом отношении беспрецедентные масштабы русской колонизации на востоке имели во многом компенсаторный характер, позволяя стране за счет ресурсов этих территорий и простейших форм присвоения природной ренты (в частности, сибирской пушнины) удерживаться в системе международной торговли, а через это — и во всей системе европейских отношений.²² В результате Россия путем военной и аграрно-промысловой колонизации Северной Евразии обрела крупнейшую, но удаленную от центров мировой экономики, редко населенную и слабо освоенную территорию, на двух третях которой до сих пор экстенсивные формы первичного извлечения природной ренты из уникальных ресурсов остаются более рентабельными, чем интенсивные формы экономики.²³ Поддержание эффективного контроля над территорией, ее обустройство и оборона, не говоря уже об организации на ней более сложных форм производства, пролонгировали повестку евразийского большого вызова (с некоторым видоизменением его структуры), придавая ответу на него затяжной, многоактный и по сей день далекий от завершенности характер.

Концепция А. Дж. Тойнби позволяет более исторично, с большей диалектической ясностью видеть несовершенство каждого инструмента, который та или иная цивилизация вырабатывает в качестве ответа на возникающие вызовы. Очевидно, что колонизация, являясь довольно эффективным (а при определенных обстоятельствах — и единственно возможным)

¹⁷ Кавелин К. Д. Наш умственный строй: Статьи по философии русской истории и культуры. М., 1989. С. 159.

¹⁸ Белинский В. Г. Собрание сочинений. М., 1979. Т. 4. С. 39.

¹⁹ Там же.

²⁰ Кавелин К. Д. Указ. соч. С. 159.

²¹ Ключевский В. О. Указ. соч. С. 64, 65.

²² Об этом см.: Азиатская Россия в геополитической и цивилизационной динамике. XVI–XX века / Алексеев В. В., Алексеева Е. В., Зубков К. И., Побережников И. В. М., 2004. С. 540, 541.

²³ См.: Горячева Л. Естественно-природные условия развития национальных хозяйств России и Западной Европы // Мировая экономика и международные отношения. 2004. № 2. С. 48–59.

ответом на ряд вызовов, сама в дальнейшем порождает вызовы, но уже несколько иного плана. По оценке М. К. Любавского, одним из ее результатов была низкая «плотность» социальных взаимодействий, «разбросанность населения», что, в свою очередь, явилось «сильным тормозом в ее (России — К. З.) культурном развитии, в экономическом, умственном и гражданском преуспевании».²⁴

Присущую России дихотомию европейского «первородства» и условий азиатской «среды», влиявшую на всю организацию русской государственной жизни, остро осознавала еще Екатерина II. Утверждая, что «Россия есть Европейская страна», императрица доказывала это не только сообразностью условий жизни народа «климату» страны, но и той легкостью, с которой Петру Великому удалось осуществить перемену нравов своих подданных в европейском духе. Первоначальную же отсталость России Екатерина II была склонна объяснять как раз «смешением разных народов и завоеваниями чуждых областей».²⁵ По существу, Екатерина II рассматривала реформы Петра I и свое собственное царствование как «возвращение» России к ее европейским истокам, но уже на новой основе — через распространение начал европейской цивилизации на всех ее необъятных просторах. Вполне непроизвольно Екатериной II была обозначена важная проблема исторической миссии российской цивилизации, ее места и значения в ряду других цивилизаций и, в конечном счете, самого смысла ее существования.

А. Дж. Тойнби увидел главную историческую заслугу «православно-христианской» цивилизации в том, что она, благодаря «новой социальной организации», впервые явила пример того, как оседлому обществу удалось «не просто выстоять в борьбе против евразийских кочевников и даже не просто побить их... но и достичь действительной победы, завоевав номадические земли, изменив лицо ландшафта и преобразовав в конце концов кочевые пастбища в крестьянские поля, а стойбища — в оседлые деревни». Эту историческую победу А. Тойнби приписывает (несколько преувеличенно) главным образом казачеству — авангарду русской колонизации Евразии. Казачество, по его мнению, как раз и есть то социальное «изобретение», которое эффективно ответило

на многовековой номадический вызов. Переняв у кочевников их военное искусство, казаки одновременно побеждали их, опираясь на «развитую культуру земледелия» и используя для разоблачения противостоящего им номадического массива речные артерии.²⁶

Секрет овладения евразийским пространством, разумеется, не сводится только к успешной тактике продвижения казачьих отрядов в ареалы господства кочевников. В этом историческом успехе очень значимы системные предпосылки разворота всей мощи Московского государства к активности в южном и юго-восточном направлениях, включая и дальние стратегические виды государства, и интересы торговли, и растущую потребность служилого сословия и русского крестьянства в земельных ресурсах. За счет территориально-экономического роста государства на севере и северо-востоке были созданы предпосылки для новой фазы его геополитического расширения на юге. Это движение, по большому счету, начинается с завоевания Волги путем покорения Казани (1552) и Астрахани (1556), что определило общий контур того пространства, которое в последующем должны были заполнить под защитой продвигающихся на юг оборонительных линий волны русской колонизации. В незащищенном южном направлении Россия, однако, гораздо труднее расширяла свои пределы, чем это было на севере и востоке, что накладывало сильнейший отпечаток на весь характер колонизационного процесса, поскольку в большинстве случаев его приходилось предварять военным завоеванием.

Однако само по себе военное завоевание не гарантировало прочного овладения территориями без подтягивания к его передовым линиям, так сказать, материальных тылов. По-настоящему прочное утверждение России на обширном евразийском пространстве могло состояться только на базе нового для этого пространства — аграрного — способа хозяйствования и новой оседлой культуры, которые для Европы были уже давно пройденным этапом. Поэтапное расширение периметра оборонительных линий и зоны аграрного освоения, транспортное использование речных артерий и развитие опорной сети городов явились важнейшими слагаемыми того цивилизационного переворота, который русская колонизация осуществила в развитии Евразии.

²⁴ Любавский М. К. Историческая география России в связи с колонизацией. СПб., 2000. С. 24.

²⁵ Наказ императрицы Екатерины II, данный Комиссии о сочинении нового Уложения. СПб., 1907. С. 2, 3.

²⁶ Тойнби А. Дж. Указ. соч. С. 140, 141.

Такой реконструктивный подход к покорению евразийских пространств был решающим преимуществом российской цивилизации перед другими цивилизационными центрами, которые в XVI–XVIII вв. предпринимали попытки экспансии во внутренние районы Евразии, удовлетворяясь, как правило, установлением на завоеванных территориях вассально-данических отношений (Османская империя, среднеазиатские ханства, цинский Китай).

Насаждаемая на колонизируемых землях новый тип экономики и культуры, Россия фактически еще до петровских реформ приступила к чрезвычайно растянутому по времени и колоссальному по трудности процессу «модернизации» — не столько своего исторического ядра, сколько открывшегося ее исторической инициативе необъятного евразийского пространства. Хотя модернизация трафаретно связывается в наших представлениях с историческим переходом от традиционного, аграрного, общества к современному, индустриальному, переход обширных пространств Евразии, знавших, по существу, только экстенсивное кочевое хозяйство и примитивные присваивающие формы экономики, на новую ступень исторического прогресса — к аграрному способу производства и к зачаткам городской культуры — видится не менее масштабным модернизационным достижением, чем переход к индустриальной стадии развития.²⁷ Другое дело, что эти результаты менее заметны, поскольку оказались фактически «растворены» в затяжном аграрно-колониационном движении. Бесспорно, это эпохальное достижение в значительной степени поглощало тот запас созидательной энергии, который мог бы быть затрачен на более сжатый по времени переход к индустриальному обществу.

Насколько многовековой евразийский вызов развитию России носил комплексный характер, сочетая в себе необходимость борьбы с природой и задачи внешней обороны, настолько же пространственная динамика хозяйственного освоения Евразии неизменно предвосхищалась и поддерживалась военно-завоевательной политикой Российского государства. Однако военный аспект в целом ряде случаев имел и самостоятельное значение. При открытости и незащищенности

евразийских пространств главный смысл непрерывной военной экспансии для России сводился в конечном итоге к решению двух задач — 1) устранения внешних угроз путем достижения «естественных границ» безопасности и 2) улучшения геополитического положения страны путем завоевания выходов к незамерзающим морям (Балтика, Черное море, моря Тихого океана). Одним из проявлений евразийского вызова являлась специфичная для России дилемма безопасности, которая заключалась в сложном выборе между императивами достижения «естественных границ» и необходимостью сознательно ограничивать дальнейшую экспансию, накладывавшую тяжелое бремя на ресурсы государства. Этот вызов остро осознавался военно-политической элитой России уже с 1850-х гг. При этом в силу особенностей топографии евразийских пространств все поле возможных решений здесь сводилось к выбору между двумя «крупно-блочными» стабилизирующими вариантами организации пространства безопасности — «ничего или все», т. е. либо вообще не вступать в геополитически проблемное пространство, либо решительно продвигаться к достижению «естественных границ».²⁸

Как известно, ответом на эту дилемму стала именно последняя стратегия, которая, по оценке Х. Дж. Маккиндера, завершилась успехом, обеспечив Российской империи к началу XX в. сильнейшую, с точки зрения естественных условий, оборонительную позицию.²⁹ (Эта позиция, впрочем, была моментально утрачена с распадом СССР, что вернуло Россию к состоянию страны с открытыми и не защищенными природными «барьерами» границами.) К этому же времени была в основном решена задача первичного освоения, заселения и институциональной организации подконтрольной России Северной Евразии. Однако мир в целом и самые отдаленные его периферийные территории к началу XX в. вступили в новую стадию развития, которая вновь воспроизвела для России евразийский вызов, на этот раз связанный с масштабной индустриализацией евразийского пространства и с преодолением его относительной изолированности от мировой экономики.

²⁷ Об этом см.: Зубков К. И. Аграрная колонизация Евразии как первая российская «модернизация» // Аграрная сфера в контексте российских модернизаций XVIII–XX веков: макро- и микропроцессы. Оренбург, 2010. С. 99–104.

²⁸ См.: Венюков М. И. Опыт военного обозрения русских границ в Азии. СПб., 1873. С. 14, 15.

²⁹ См.: Mackinder H. J. Op. cit. P. 436.

Konstantin I. Zubkov

Candidate of Historical Sciences, Institute of History and Archaeology, Ural Branch of the RAS (Russia, Ekaterinburg)

E-mail: zubkov.konstantin@gmail.com

EURASIAN CHALLENGE IN THE FORMATION OF RUSSIAN CIVILIZATION

The article examines the peculiarities of the Russian historical process in the light of analytical scheme “challenge — response” suggested by A. J. Toynbee as a core of his theory of genesis of civilizations. As a study result, there was defined a high degree of verification of viewing Russia as a self-dependent civilization of “continental” type, in development of which the determinants of natural geography had extraordinary significance. The analysis of spatial-geographic conditions of Eurasia as an arena for developing the Russian history gives a view of complex and historically prolonged character of the “big challenge”, which is defined here as “Eurasian” and with which the most powerful impulses for the emergence of the Russian civilization should be bound. In the structure of that challenge, the factors of “continentality” and unfavorable natural conditions were inseparably bound with the external military pressure, while the process of colonization had become a complex strategy for response to their massive impacts. The colonization withdrawal of population from southern Rus’ and migration of the political centre of the Russian lands to the north-east became, historically, the first successful response to the Eurasian challenge and the genuine moment for the birth of the Russian civilization. After the Russian state being strengthened at the expense of the northern and north-eastern areas, the further development of the Russian civilization was connected with the decisive turn of the colonization front southwards. The following agrarian development of the steppe parts of Eurasia being previously a zone of nomadic dominance, should be considered as both the most important historical mission of the Russian civilization and the first Russian modernization.

Keywords: *Russia, Eurasia, Russian civilization, Toynbee, challenge, response, colonization, security*

REFERENCES

- Alekseyev V. V., Alekseyeva E. V., Zubkov K. I., Poberezhnikov I. V. *Aziatskaya Rossiya v geopoliticheskoy i tsivilizatsionnoy dinamike. XVI–XX veka* [Asiatic Russia in geopolitical and civilizational dynamics. The 16th–20th centuries]. Moscow: Nauka Publ., 2004, 600 p. (in Russ.).
- Belinskiy V. G. *Sobraniye sochineniy* [Complete works]. Moscow: “Belles-Lettres” Publ., 1979, vol. 4, 654 p. (in Russ.).
- Dulov A. V. *Geograficheskaya sreda i istoriya Rossii. Konets XV — seredina XIX v.* [Geographical environment and history of Russia. The late 15th — middle 19th century]. Moscow: Nauka Publ., 1983, 256 p. (in Russ.).
- Goryacheva L. [Natural conditions of development of national economies of Russia and West Europe]. *Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnyye otnosheniya* [World Economy and International Relations], 2004, no. 2, pp. 48–59. (in Russ.).
- Kavelin K. D. *Nash umstvennyy stroy. Statyi po filosofii russkoy istorii i kul'tury* [Our mental system. Articles on the philosophy of Russian history and culture]. Moscow: “Pravda” Publ., 1989, 654 p. (in Russ.).
- Klyuchevskiy V. O. *Sochineniya* [Works]. Moscow: Mysl’ Publ., 1987, vol. I, part I, 430 p. (in Russ.).
- Lyubavskiy M. K. *Istoricheskaya geografiya Rossii v svyazi s kolonizatsiyey* [Historical geography of Russia in connection with the colonization]. Saint Petersburg: “Lan” Publ., 2000, 304 p. (in Russ.).
- Lyubavskiy M. K. *Obzor istorii russkoy kolonizatsii* [Survey of history of the Russian colonization]. Moscow: Moscow University Publ., 1996, 688 p. (in Russ.).
- Milyukov P. N. [Why was the Russian revolution inevitable?]. *Rysskaya idea* [Russian idea]. Moscow: “Iskusstvo” Publ., 1994, vol. 2, pp. 119–127. (in Russ.).
- Rozhkov N. A. *Proiskhozhdeniye samoderzhaviya v Rossii* [The origins of autocracy in Russia]. Moscow: “LIBROCOM” Publ., 2012, 216 p. (in Russ.).
- Solovev S. M. *Sochineniya* [Works]. Moscow: Mysl’ Publ., 1988, book 1, vol. 1–2, 798 p. (in Russ.).
- Toynbee A. J. *Postizheniye istorii* [A study of history]. Moscow: “Progress” Publ., 1991, 736 p. (in Russ.).
- Zubkov K. I. [Agrarian colonization of Eurasia as the first Russian “modernization”]. *Agrarnaya sfera v kontekste rossiyskikh modernizatsiy XVIII–XX vekov: makro- i mikroprotssy* [Agrarian sphere in the context of Russian modernizations of the 18th–20th centuries: macro- and microprocesses]. Orenburg: GU “RTsRO” Publ., 2010, pp. 99–104. (in Russ.).